

Алексей Толстой

Хромой барин



ФТМ

Хромой барин Алексей Толстой. Москва: ФТМ, 1998. 128 с. ISBN 5-7039-0000-0.



Алексей Николаевич Толстой

Хромой барин

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5317740

Аннотация

Роман Алексея Толстого (1882-1945) «Хромой барин» (1912) рассказывает о помещике родной для писателя Самарской губернии, склонному к разным чудачествам, о всевозможных неординарных, иногда анекдотических происшествиях.

А. Н. Толстой – правдивый и беспощадный обличитель темных жестоких сторон прошлого, продолжатель традиций классического критического реализма – вначале искал своих положительных героев в пределах старого общества, хорошо знакомой ему дворянской и интеллигентской среды.

Содержание

Алексей Толстой	4
ЛУННЫЙ СВЕТ	4
1	4
2	6
3	7
НЕОЖИДАННОЕ ЧУВСТВО	10
1	10
2	11
3	13
ЯДОВИТЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ	15
1	15
2	16
3	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Алексей Толстой ХРОМОЙ БАРИН

*С престола ледяных громад,
Родных высот изгнанник вольный,
Спрядает вольный водопад
В теснинный мрак и плен юдольный.
А облако, назад – горе –
Путеводимое любовью,
Как агнец, жертвенною кровью
На снежном рдеет алтаре.
(Вяч. Иванов. Кормчие звезды»)*

ЛУННЫЙ СВЕТ

1

К полуночи луна, взойдя над Колыванью, осветила с левой стороны неровные стекла изб, направо погнала густые тени по притоптанному гусиному щавелю деревенской улицы и задвинулась заблудившимся в ночном небе облаком, – в это время вдоль села мчалась во весь дух с подвязанным колокольчиком тройка, впряженная в откидную коляску.

Еще не пели петухи, а собаки уже перестали брехать, и только в избе с краю села сквозь щели ставней желтел свет.

У избы этой над двухскатной крышей ворот торчал шест с обручем, обвязанным сеном, издалека указывая путнику постоялый двор. За избой далеко расстилалась ровная, серая от лунного света степь, куда и уносилась взмыленная тройка с четким, гулким в ночной тишине галопом пристяжных и валкой, ухודистой рысью коренника. Человек, сидящий в коляске, поднял трость и тронул кучера. Тройка осела и стала у постоялого двора.

Человек снял с ног плед, взялся за скобу козел и, прихрамывая, пошел по траве к низкому крылечку. Там, обернувшись, он сказал негромко:

– Ступай. На рассвете приедешь.

Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь, а человек взялся за кольцо двери, погромел им и, словно в раздумье, прислонился к ветхому столбику крылечка. Его узкое лицо было бледно, под длинными глазами – тени, выющаяся небольшая борода оставляла голым подбородок. Он медленно стянул с правой руки перчатку и постучал во второй раз.

По скрипящим доскам сеней слышались босые шаги, дверь приоткрылась, распахнулась быстро, и на пороге стала молодая баба.

– Алешенька! – сказала она радостно и взволнованно. – А я и не ждала. – Она несмело коснулась его руки и поцеловала в плечо.

– Принимаешь, Саша? – спросил он. – Я к тебе до утра. – И, кивнув головой, вошел в залитые лунным светом сени.

Саша шла впереди, оборачиваясь и открывая улыбкой на свежем красивом лице своем белые зубы.

– Я видела, как ты о полдень проехал по селу. Наверно, подумала, к барину Волкову, там тебя и ночевать оставят, а ты вот как, батюшка, ко мне прибыл...

– У тебя никто не спит из приезжих?

– Нет, никого нет, – ответила Саша, входя в летнюю дощатую горницу. – Мужики с возами остановились, только все спят на воле, – и она села на широкую, покрытую лоскутным одеялом кровать и улыбнулась нежно.

Свет месяца, пробираясь в горницу через небольшое окошко, осветил Сашино лицо с приподнятыми углами губ, высокую шею в вырезе черного сарафана, на груди – шевелившуюся нитку янтарных бус.

– Принеси вина, – сказал вошедший.

Он стоял в тени, держа шляпу и трость. Саша проворно соскочила и ушла. А он лег на кровать, закинул за голову руки. Понемногу лицо его сморщилось, исказилось. Он повернулся на бок и, охватив подушку, сунул в нее голову.

Саша вернулась, неся небольшой столик, покрытый салфеткой; на него она поставила две бутылки – одну с вином, другую со сладкой водкой, поднялась по лесенке в чулан и вынесла оттуда на тарелке орехи, пряники, изюм. Двигалась она быстро и легко, переходя из лунного света в тень. Лежавший приподнялся на локте, сказал:

– Поди сюда, Саша. – Она сейчас же села в ногах его, на кровать. – Скажи, если бы я тебя обидел, страшно бы обидел, простишь?

– Воля твоя, Алексей Петрович, – помолчав, дрогнувшим голосом ответила Саша. – А за твою любовь – благодарю покорно. – Она отвернулась и вздохнула.

Алексей Петрович, князь Краснопольский, долго старался в темноте разобрать лицо Саши. После молчания он сказал тихо, точно лениво:

– Все равно – ты ничего не поймешь. Рада, что я приехал, а не спросила – откуда и почему я у тебя здесь лежу?.. А то, что я у тебя лежу сейчас, – отвратительно... Да, ужасно, Саша, гнусно.

– Что ты, что ты! – проговорила она испуганно. – Если бы я тебя не любя принимала.

– Поди ближе. Вот так, – продолжал князь и обхватил Сашу за полные плечи. – Я и говорю – ты ничего не понимаешь, и не старайся. Послушай, нынче вечером я досыта наговорился с одним человеком. Хорошо было, очень.

– С барышней Волковой?

– Да, с ней. Вот так – сидел близко к ней, и голова у меня кружилась больше, чем от твоего вина. Знаешь, как во сне покажется, что тебя нежно погладят, так и я о ней словно во сне вспоминаю. Сейчас ехал оттуда, и мне казалось, будто совсем все у меня хорошо и благополучно. А когда въехал в Колывань, подумал: стоит только остановить лошадей у твоего крыльца – и все мое благополучие полетит к черту. Теперь понимаешь? Нет? Нельзя мне к тебе заезжать. Хоть бы ты мне отравы какой-нибудь дала.

Сашины руки упали без сил, она опустила голову.

– Жалеешь ты меня, Саша? Да? – спросил князь, привлек ее и поцеловал в лицо, но она не раскрыла глаз, не разомкнула губ, как каменная. – Перестань, – прошептал он. – Я с тобой шучу.

Тогда она заговорила отчаянно:

– Знаю, что шутишь, а все-таки верю. Зачем же мучаешь? Ведь на душе у меня живого места не осталось. Знаю – из милости любишь. Баба я, какой мой век, какое уж мне счастье!

За стеной в это время громко закричал петух. Лошадь спросонья ударила в доску. Понемногу в утреннем слабом свете яснее стало видно худое, в тенях, красивое лицо князя. Большие глаза его были печальны и серьезны, на губах – застывшая усмешечка.

Саша долго глядела на него, потом принялась целовать князю руки, плечи и лицо, ложась рядом и согревая его сильным своим, взволнованным телом.

2

На другой стороне села, за плетнем, посреди заросшего бурьяном двора, в новой избе, на полатах лежал доктор Заботкин.

Снизу была видна только его голова, упертая в два кулака подбородком, на котором росли прямые рыжие волосы. Такие же космы во все стороны, начиная с макушки, падали на лоб и глаза, лицо было неумыто и припухло от сна.

Доктор Григорий Иванович Заботкин, прищуря глаз, сплевывал вниз с полатей, стараясь попасть в сучок на полу.

Напротив, в простенке, под жестяной лампой сидел на лавке попик небольшого роста, тихий и умильный, с проседью в темной косице. Рукава его подрясника были засалены и в складках, как у гармоники. Запустив в них пальцы, отец Василий морщился и молчал, глядя, как доктор плюется.

– В три года во что себя человек обратил, – сказал, наконец, отец Василий.

– А что, не нравится? – лениво ответил Григорий Иванович. – А у меня с детства такая привычка: когда очень скучно, залезу в тесное место и плююсь. Не нравится – не глядите. У меня даже излюбленное местечко было – под амбаром, где мягкая травка росла. Там наша собака постоянно щенилась. Щенята – теплые, молоком от них пахнет; собака их лижет, – они скулят. Хорошо быть собакой, честное слово.

– Дурак ты, Григорий Иванович, – помолчав некоторое время, сказал отец Василий. – Я лучше уйду.

– Вы, отец Василий, не имеете права уходить, пока не доставите мне душевного облегчения, вам за это правительство деньги платит.

– Сколько тебе лет?

– Двадцать восемь.

– Университет окончил, года молодые, занятие светское, я бы на твоём месте весь день смеялся. А ты, эх! Ну куда ты годен с твоими идеями? Лежишь и плюешься.

– У меня, отец Василий, идеи были замечательные. – Григорий Иванович повернулся на спину, вытянул с полатей руки, хрустнул пальцами и зевнул. – Вот к водке я привыкнуть не могу. Это верно.

– Эх! – сказал отец Василий, аккуратно достал из подрясника жестяной портсигар, чиркнул спичкой, по привычке зажигать на ветру подержал ее между ладонями – шалашиком, закурил и, покатав в пальцах, бросил под лавку. – Ну, вот поверь – была бы в селе другая, кроме тебя, интеллигенция, нипочем бы не стал ходить к тебе.

Подобные разговоры происходили между доктором и отцом Василием постоянно, начиная с весны, когда сгорела колыванская больница. Григорий Иванович передал тогда все дела фельдшеру и сидел в избе, нанятой земством на время, пока не построят новую больницу.

Три года назад Григорий Иванович был назначен на первое свое место в Колывань. Сгорая, он принялся разъезжать по деревням, лечить и даже помогать деньгами. Таскаясь в распутицу по разбухшей навозной дороге или насквозь продуваемый ледяным ветром в январскую ночь, когда мертвая луна стоит над мертвыми снегами; заглядывая в тесные избы, где кричат шелудивые ребятишки; угорая в черных банях – под герой – от воплей роженицы и едкого дыма; посылая отчаянные письма в земство с требованием лекарств, врачебной помощи и денег; видя, как все, что он ни делает, словно проваливается в бездонную пропасть деревенского разорения, нищеты и неустройства, – почувствовал, наконец, Григорий Иванович, что он – один с банкой касторки на участке в шестьдесят верст, где мором мрут ребятишки от скарлатины и взрослые от голодного тифа, что все равно ничему этой банкой

касторки не поможешь и не в ней дело. В это время сгорела больница, он шваркнул касторку об землю и полез на полати.

Отец Василий, на глазах которого выматывался таким образом третий доктор, очень жалел Заботкина, забегал к нему каждый почти день, стараясь как-нибудь – папиросочкой или анекдотцем – уж не утешить – какое там утешение, когда от человека осталась одна копоть, – а хоть на часок рассмешить: все-таки посмеется.

Окончив зевать, Григорий Иванович повернулся спать на живот, спустил руку и попросил покурить.

– Сегодня табачок у Курбенева купил, – сказал на это отец Василий и, став под полатями на цыпочки, поднял портсигар, нажав у него потайную пружину.

Григорий Иванович хотя и знал, что портсигар этот «фармазонный» – с фокусом, сделал вид, что не помнит, и потянул фальшивое дно, где папирос не было...

– Что, получил папиросы «фабрики Чужаго», – засмеялся отец Василий, очень довольный шуткой. – Ну, кури, кури. А я, знаешь, сегодня у Волкова был.

– Говорят, зверь, страшная скотина твой Волков.

– Совершенная неправда! Мало что болтают. Отличный человек, а живет... Вот бы ты, Григорий Иванович, посмотрел хорошенько на таких людей – не валялся бы тогда на полатах. А дочка его, Екатерина Александровна, поверь мне, замечательная красавица, благословенное творение божие... Был бы я живописцем – Марию бы Магдалину с нее написал, когда она перед женихом усмехается.

– Как это так – усмехается перед женихом? – внезапно перебил Григорий Иванович.

– Разве ты этого не слышал? Великие живописцы всегда эту усмешку отмечали в своих творениях. Девица, девственница, сосуд любви и жизни, постоянно, как бы видя около себя ангела, указующего перстом на ее чрево, дивно усмехается. Я это тебе не шутя говорю. Ты не смейся. – Отец Василий поднял брови и курил, пуская дым из носа; потом сказал: – Да, так вот как, – вздохнул, помолчал и ушел.

Но Григорий Иванович совсем не смеялся. Втянув на полати голову, лежал он тихо – закрыл глаза, стиснул челюсти, потому что недаром было ему всего двадцать восемь лет и могли еще его, как гром, поражать нечаянные слова о девичьих усмешках,

3

Сияет в темно-синем небе лунный свет, и кажется – конца не будет ему, – забирается сквозь щели, сквозь закрытые веки, в спальни, в клетки, в норы зверей, на дно пруда, откуда выплывают очарованные рыбы и касаются круглым ртом поверхности вод.

Той же ночью луна стояла над утоптанном копытами берегом пруда, – он вышел светлым крылом из густой чащи волковского сада.

У воды, в траве, на полушубке лежал широкоплечий бородатый конюх, опираясь на локоть. Конюшонок неподалеку дремал в седле, сивый конек его спросонок мотал головой и брякал удилами. По низкому лугу, среди высоких репейников и полыни, паслись лошади. Жеребята лежали, касаясь мордой вытянутой ноги.

Вдоль берега, от высоких ветел плотины, медленно шел старичок в кафтане. Дойдя до конюха, он остановился и долго не то смотрел, не то слушал...

– Да, ночь теплая, – сказал старичок. Конюх спросил лениво:

– Что ты все бродишь, Кондратий Иванович, – беспокоишься?..

– Брожу, не спится.

– Все думаешь?

– Думается, да... Ведь я по этим местам, как в колесе, всю жизнь прокрутился – по дому да вокруг. Землю-то до камня протер... Они и тянут – старые следы. Помирать, что ли, время?

– На покой тебе нужно, Кондратий Иванович, на пенсию.

– А тут еще барин давеча опять расшумелся, – вполголоса говорил Кондратий. – Князь-то опять в сумерки приезжал. Коляску оставил за прудом и, вор-вором, на лодке подъехал к беседке и с барышней – разговор... Такой влипчивый, прямо сказать – опасный.

– На то он и князь, Кондратам Иванович, это мы с тобой нанялись – продались да помалкиваем, а он что хочет, то и творит. Сказывали, он – гостей провожать – из пушки стреляет.

– Не то плохо, а зачем ездит и не сватается. На барышне нашей лица нет...

Кондратий Иванович замолчал. Конюх, привстав на полушубке, взгляделся и крикнул:

– Мишка, не спи, кони ушли!

Конюшонок очнулся в седле, дернул головой и зачмокал, замахал кнутом; сивая лошадь шагнула и стала, опустив шею. И опять задремала и она и конюшонок: такая теплая и тихая была ночь.

Постояв, помолчав, проговорив многозначительно: «Да-с, так-то вот оно все», Кондратий побрел обратно к саду.

Старая ветла, разбитая грозой, плетень, канава с лазом через нее, дорожки, очертания деревьев – все это было знакомо, и все, словно ключиками, отмыкало старые воспоминания о тяжелом и о легком, хотя если припомнить хорошенько, то легкого в жизни было, пожалуй, и не много.

Кондратий служил камердинером при Вадиме Андреевиче и при Андрее Вадимыче и помнил самого Вадима Вадимыча Волкова, о котором Кондратий даже во сне вспоминать боялся, – такой был он уса́тый и ужасный, не знал удержу буйствам и для унижения мелкопоместных дворян держал особенного – дерзкого шута Решето и дурку. От них-то и произошел Кондратий, получив с рождения страх ко всем Волковым и преданность.

Вадим Андреевич, отец теперешнего Александра Вадимыча, был большой любитель почитывать и пописывать, издал даже брошюру для крестьян под названием «Добродетельный труженик», но был решительно против отмены крепостного права и однажды, приказав привести в комнаты кривого Федьку-пастуха, усадил его на шелковый диван, предложил сигару и сказал: «Теперь вы, Федор Иванович, самостоятельная и свободная личность, приветствую вас, можете идти, куда хотите, но если желаете у меня служить, то распорядитесь, будьте добры, и вас в последний раз высекут на конюшне». Федька подумал и сказал: «Ладно».

При отце Вадима Андреевича – Андрее Вадимыче – Кондратий начал служить казачком. Барин был сырой, скучливый, любил ходить в баню и там часто напивался, сидя вместе с гостями и с девками на свежей соломе нагишом. Так в бане его и сожгли дворовые.

Теперешний Александр Вадимыч Волков был уже не тот – мельче, да и вырос он на дворянском оскудении, когда нельзя уже было развернуться во всю ширь.

И не то что не боялся Кондратий Александра Вадимыча, а недостаточно уважал и был привязан только, но зато всею душой, к дочке его Катюше, первой красавице в уезде.

Перейдя плотину, Кондратий спустился в овраг, перелез через плетень и побрел по сыроватой и темной аллее.

В саду было тихо, только птица иногда ворочалась и опять засыпала в липовых ветвях, да нежно и печально охали древесные лягушки, да плескалась рыба в пруду.

Овальный пруд обступили кольцом старые ветлы, такие густые и поникшие, что сквозь их зелень не мог пробиться лунный свет, – он играл далеко на середине пруда, где в сколь-

зящей стеклянной зыби плавала не то утка, не то грачонок еле держался на распластанных крыльях, – нахлебался воды.

Дойдя до конца аллеи, Кондратий заглянул налево, туда, где над прудом стояла кривая от времени беседка, сейчас – вся в тени.

Вглядываясь, он различил женскую фигуру в белой шали, облокотившуюся о перила. Под ногой Кондратия хрустнул сучок, женщина быстро обернулась, проговорила взволнованно:

– Это вы? Вернулись?

– Это я, Катенька, – покашляв, сказал Кондратий и двинулся к мосткам.

Екатерина Александровна легко по доскам сошла на берег, до подбородка закутанная в шаль, постояла перед Кондратием, сказала:

– Ты тоже не спишь? А у меня столько комаров налетело в комнату – не могла заснуть. Проводи меня.

– Комары комарами, – заметил Кондратий строго, – а на пруду по ночам девице одной неудобно...

Катенька, шедшая впереди, остановилась.

– Что за тон, Кондратий!

– Так, тон. Александр Вадимыч пушил меня, пушил сегодня, и за дело: разве мыслимо по ночам прогуливаться, сами понимаете...

Катенька отвернулась, вздохнула и опять пошла, задевая краем платья сырую траву.

– Ты папе ничего не рассказывай про сегодняшнее, голубчик, – вдруг прошептала она и губами коснулась сморщенной щеки Кондратия...

Он довел барышню до балкона, с которого поднимались шесть кое-где облупленных колонн, наверху синевато-белых от лунного света; подождал, пока зашла в дом Екатерина Александровна, покашлял и повернул за угол к небольшому крылечку, где была его каморка с окном в кусты.

И только что он сел на сундук, покрытый кошмою, как по дому прокатился гневный окрик Александра Вадимыча: – Кондратий!..

Кондратий по привычке перекрестил душку и стариковской рысью побежал по длинному коридору к дверям, за которыми кричал барин.

Берясь за дверную ручку, Кондратий почувствовал запах гари. Когда же вошел, то в густом дыму, где желтел огонек свечи, увидел на постели Александра Вадимыча, в одной рубашке, раскрытой на жирной и волосатой груди, с багровым лицом, – барин наклонился над глиняной корчагой, из которой валил дым от горящего торфа. Подняв на Кондратия осовевшие, выпученные глаза, Волков сказал хрипло:

– Комары заели. Дай квасу. – И когда Кондратий повернулся к двери, он крикнул: – Вот я тебя, мерзавец! Зачем на ночь окошки не затворяешь?

– Виноват, – ответил Кондратий и побежал в погреб за квасом.

НЕОЖИДАННОЕ ЧУВСТВО

1

Григорий Иванович Заботкин долго разглядывал на полатах какие-то тряпки, мусор, окурки, пыль, втянул через ноздри тяжелый воздух, потрогал болевшую голову и медленно, точно все тело его было тяжелое, без костей, полез вниз, морщась и нащупывая ногами приступки в печи.

Став на пол, Григорий Иванович поддернул штаны и нагнулся к осколку зеркала под лампой. Оттуда глянуло на него желтое сальное лицо, осовелые мутно-голубые глаза и космы волос во все стороны.

– Ну и харя! – сказал Григорий Иванович, запустил пальцы в волосы, откинул их, сел к столу, подперся и задумался.

Бывают такие остатки мыслей, прибереженные напоследок, густые, как болотная тина, дурные, как гниль; если сможет человек их вызвать из душевных подвалов, перенести их боль и оторвать от себя, тогда все в нем словно очнется, очистится; а станет переворачивать, трогать их, как больной зуб, снова и снова дышать этой гнилью, болеть сладкой болью омерзения к себе, – тогда на такого можно махнуть рукой, потому что всего милее ему – дрянь, плевок в лицо.

Григорию Ивановичу очень не хотелось расставаться с лежалыми своими мыслями, – за три года накопилось их очень много. К тому же очень бывает опасно для еще не окрепшего духом человека видеть только больных, только несчастных, только измученных людей. А за три года перед Григорием Ивановичем прошло великое множество истерзанных родами и битьем баб, почерневших от водки мужиков, шелудивых детей в грязи, в голоде и сифилисе. И Григорию Ивановичу казалось, что вся Россия – такая же истерзанная, почерневшая и шелудивая. А если так и нет выхода – тогда пусть все летит к черту. И если – грязь и воняет, значит так нужно, и нечего притворяться человеком, когда ты – свинья.

«Все это так, и припечатано, – думал он, помахивая перед лицом тощей кистью руки. – Жизни я себя не лишу конечно, но зато – пальцем не поведу, чтобы лучше стало. Для утешения – девицу Волкову мне приплел. Так вот что, отец Василий, потаскал бы я эту вашу девицу Волкову по сыпному тифу – посмотрел бы тогда, как она станет «усмехаться перед женихом»...»

Григорий Иванович ядовито засмеялся, но затем почувствовал, что не совсем прав...

«Ну, скажем, эта барышня ничего не видела и не знает – тепличный фрукт... Это еще что-то вроде оправдания... Но поп возмущает меня... Да где оно, это все ваше хорошее, покажите мне? Родится в грязи, живет в свинстве, умирает с проклятием... И никакого просвета в этой непролазной грязище нет. И если я честный человек, то должен честно и откровенно плюнуть в это паскудство, называемое жизнью. И прежде всего в рожу самому себе...»

Григорий Иванович действительно плюнул на середину избы, затем повернулся к окошку и увидел рассвет.

Этого он почему-то совсем не ожидал и удивился. Затем вылез из-за стола, вышел на двор, вдохнул острый запах травы и влаги и сморщился, словно запах этот разрушал какие-то его идеи. Потом побрел вдоль плетня к луговому поему речки.

Плетьень, огибая с двух сторон избу и дворик, сбегал к воде, где росли ивы; одна стояла с отрезанной верхушкой, на месте ее торчало множество веток, другая низко наклонилась над узкой речонкой.

Небо еще было ночное, а на востоке, у края земли, разливался нежный свет; в нем соломенные верхи крыш и деревья выступали ясней и отчетливей.

По селу кричали петухи. Откликнулся петух и у Григория Ивановича на дворе. А ветерок, острый от запаха травы, залетел в иву, и листья ее, качнувшись, как лодочки, нежно зашумели.

– Все это обман, все это не важно, – пробормотал Григорий Иванович и, стоя у дерева, глядел не отрываясь, как на бледно-золотом востоке, от света которого уходило ночное небо, делаясь серым, зеленым, как вода, и лазоревым, горела невысоко над землей большая звезда. Это было до того необычайно, что Григорий Иванович раскрыл рот.

Звезда же, переливаясь в пламени востока, таяла, и вдруг, загасив ее, поднялось за степью солнце горячим бугром.

Над рекой закурился пар. По сизой траве от ветра побежали синеватые тени. Грачи закричали за рекой в ветвях, и повсюду – в кустах и в траве – запели, зачирикали птицы... Солнце поднялось над степью...

Но Григорий Иванович был упрям: усмехнулся презрительно, прищурил глаза на солнце и побрел обратно в вонючую избенку.

Когда же вошел – желтым светом на стене горела жестяная лампа, все было прокурено, приспособлено для головной боли.

– Фу, черт, хоть топор вешай, – пробормотал Григорий Иванович и сейчас же вернулся на дворик, где, потеряв лоб, подумал: «Пойти искупаться. Ах, со мной творится неладное».

2

Студеная вода ознобила Григория Ивановича, и, окунувшись с фырканием два раза, он быстро оделся, сунул руки в рукава и сел на ползучий ствол ивы, глядя на восток.

Лазоревые изгибы речки скрывались в камышах и, вновь разливаясь по зеленому лугу, уходили за березовый лес вдалеке.

Напротив, на той стороне, белели, как комья снега, гуси на гусяном щавеле. В затуманенной паром воде ходили пескарики, тревожа водоросли. На дне, у самых ног, лежала коряга, точно сом с усами, которого боялись мальчишки за то, что он хватает за ноги. В камышах летали серые птички и посвистывали.

Григорий Иванович, мелко стуча зубами, глядел на все это, а солнце уже припекало ему лицо и босые ноги.

«Конечно, это удовольствие, – думал он, – но все это скоро окончится, все это случайное». Он опустил голову, и почему-то именно сегодняшняя ночь представилась ему как дурной сон – лежание в грязи на полатах, затхлый воздух и головная боль.

Вдруг его испугали гуси: гогоча, побежали они с гусаком во главе к берегу. Раскинув белые крылья, попрыгали в воду и – поплыли, надменно поворачивая головы направо и налево...

Григорий Иванович подавил вздох (словно душе его хотелось и нельзя было крикнуть) и стал глядеть, как от речки в небо уходит туман.

Река длинна, много в ней излучин и заводей, и отовсюду курится тонкий этот туман, собираясь за лесом в белые облака.

И как солнцу встать, поднимается из-за березового леса первое облако, за ним по той же дороге летят еще и еще. Словно в гнезде, клубятся они над лесом. Смотришь, и синее небо уже полно облаков. Плывут они все в одну сторону, медленно, как лебеди, зная свой недолговечный срок. По степи от них скользят прохладные тени. Облака меняют обличья, прикидываются зверем, полянкой, фигурой какой-нибудь и так играют, пока ветер не собьет

их в тяжелую тучу, пронизет ее молния, и понесет она плод, чтобы пролить его на землю и самой истаять.

– Я просто щенок, – пробормотал Григорий Иванович, – упрямый и лентяй. А все-таки изумительно...

Не сдерживаясь более, обрадовался он до того, что руки стали дрожать и часто замигали глаза, пошел к плетню, влез на него и принялся оглядываться – нет ли удивительного, милого человека, чтобы все это ему тут же и рассказать.

В это время на улице, сбоку плетня, показались мальчишки: они шаркали ногами, поднимали мягкую пыль, побрыкивали и ходили через голову колесом.

За мальчишками шли, взявшись за руки, девки в ситцевых сарафанах, в пестрых полусалках. Они пели какую-то не новую и славную песню – незнакомую.

Позади увязались парни. Один из них, высокий, худой, в драном армяке, дул в тростяные дудки, верхняя губа его надувалась пузырем; другой, коренастый, на кривых ногах, в жилете и картузе, растягивал гармонь.

Мальчишки, девки и парни повернули за угловую избу и плетни. Песни и музыка доносились уже издалече. Потом все показались еще раз, переходя вдалеке через мост, и скрылись за бугром, за обгорелыми столбами больницы.

– Изумительно, – пробормотал Григорий Иванович. – Или день сегодня такой особенный?

К плетню подошел степенный мужик, одетый в новое и красное, без шапки, волосы его были помазаны; он взялся за кол у плетня, сунул между прутьев сапог, смазанный дегтем, на который уже насела пыль и соломины, и спросил:

– Гуляете?

– Здравствуй, Никита. Куда это они пошли? – спросил Григорий Иванович. – Разве сегодня праздник?

– Троица нынче. Троица, – ответил мужик спокойно. – Эх, Григорий Иванович, дни путать стали. Девки венки пошли завивать.

Никита потрогал – крепко ли кол стоит в плетне, и вдруг, раскрыв немного рот, обросший русой бородой в завитках, глянул в глаза Григорию Ивановичу.

И от понимающего этого взгляда выцветших под солнцем глаз мужика, от смуглого его лица, от крепкого, с хорошим запахом тела стало понятно Григорию Ивановичу, что Никита подошел к нему посмотреть на досуге – каков такой барин и какая в нем придурь, и сразу, взглянув, как на колесо какое-нибудь, определил доктора Заботкина, который ему, Никите, ни с какой стороны не нужен, потому что хоть и доктор и читает книжки, а себя определить не может и никуда не годится.

Поняв это, Григорий Иванович засмеялся.

– А у меня к тебе просьбишка, – сказал Никита. – Доезжай со мной к бабушке, давно она помирает, да лошади все заняты и самому не оторваться... А я бы сейчас добежал запряг.

– Вот и хорошо! – воскликнул Григорий Иванович. – Сбегай запряги.

Никита действительно живо запряг и подал к крыльцу новую телегу, полную свежего сена.

Григорий Иванович с удовольствием влез на нее, сбил под себя сено, уселся, скрестил поджатые ноги и сказал:

– Знаешь, Никита, сегодня в самом деле праздник. Ты женат, наверное? Жену-то любишь?

Никита поднял брови, чмокнул, и они поехали. Сапоги его от толчков подпрыгивали у колеса. Григорий Иванович, широко улыбаясь, тряся на волглом сене, поглядывал. Хорошо!

Когда телега с грохотом проехала по земскому мосту, с перил попрыгали в осоку лягушки, утки из-под моста бросились их ловить...

– Лягушек-то сколько, – сказал Никита и подмигнул.

За рекой были выгоны и луга, а дальше – березовый лес. Никита оборачивался и заговаривал с доктором о пустяках; и так как Григорий Иванович больше молчал, не задавая глупых вопросов, Никита стал рассказывать ему о своих крестьянских делах, о том, что передумал за зиму, и вдруг неожиданно сказал, прищутив умные серые глаза:

– Крестьянствовать трудно стало нынче: все на деньги перевели. А мужика перевести на деньги, какая ему цена – грош. Трудиться, выходит, не из-за чего. Вот и подумаешь...

Никита нахмурился, потом сразу, не ожидая ответа, тряхнул головой и, вновь усмехаясь, показал кнутом на опушку леса.

Между берез ходили девки, плетя из веток венки. Мальчишки лазили по деревьям. Парни лежали в траве, слушая гармонь.

– К вечеру все напьются, – сказал Никита, – и такие хи-хи заведут – один грех. Раньше лучше было.

Телега выехала из леса на неширокую межу между волнуемых теплым ветром хлебов, от которых пахло землей и медом. Облака, теперь белые и крутые, как руно, видны были по всему синему небу. Дорога то уходила в овраг, то вилась по откосу горы, и у края земли лежали новые огромные груды белых облаков. Что в них удивительного? Но Григорий Иванович будто не замечал раньше, а только теперь понял их красоту в первый раз.

– Посмотри, Никита, облака-то какие! – сказал он.

– Облака действительно, – ответил Никита, посмотрев. – Только они пустые – за водой летят, а как вернутся с водицей – потемнеют. Вот наемднн туча одна с лягушками пролетела... Много смеялись.

Он соскочил на землю и пошел у оглобелъ, помахивая вожжами, – телега взбиралась на песчаный откос.

С откоса открылась глазам Григория Ивановича просторная равнина, исчерченная светлыми, темно-зелеными и желтыми квадратами хлебов, и два серебряных крыла пруда, словно венком, окаймленного ветлами. По эту сторону – деревня. За прудом – сад, и в кудрявых деревьях – красная крыша дома.

– Волково, – сказал Никита, показав кнутовищем. И Григорий Иванович почувствовал, как теплая, словно ветер, любовная радость коснулась сердца. Захотелось ему полететь к широкой красной крыше и хоть на минутку посмотреть, как это так дивно усмешается Волковская дочка.

3

Никитова хвора́я бабушка жила на той стороне Волги. Лошадка еле волокла телегу по прибрежному песку между тальников, кое-где поломанных и замаранных дегтем. Наконец показалась линия́лая крыша конторки и флаг с буквами П.О.С.

Ветра не было. Волны от пробежавшего парохода медленно взлизывались на песок, покачивая две полные воды лодки, привязанные к мосткам. Григорий Иванович через зыбкие мостки прошел на конторку и сел, глядя на тот берег, зеленый и крутой, где между деревьями на юру стоял белый дом с куполом и колоннами, всегда забитый досками поперек окон, – усадьба Милое, покойной княгини Краснопольской. Григорий Иванович за частые поездки привык к этому дому и не заметил сейчас, что все окна были отворены и между колонн двигались люди, маленькие изда́лече, как мухи.

Вдруг перед домом поднялось белое облачко, прокатился по реке выстрел, и недолго спустя от берега отчалила тяжелая за́возня.

– Как по туркам хватил, – сказал Никита, стоя у перил. – Князь гостей провожает.

– Да, да, – ответил Григорий Иванович, – я и не заметил, что в доме живут. С каких это пор?..

– С весны, Григорий Иванович, хозяин явился, хромой князек. Что тут было первое-то время! Так и думали, что дом сожгут. Князь, говорят, жениться хочет, – ну вот и приманивает невест пушкой.

Завозня наискось пересекала реку. Гребли в ней четыре матроса, без шапок, в синих рубашках. Над лодкой покачивался красный зонт, отражаясь в воде.

Скоро уже можно было различить бритые затылки матросов и лица девушки и толстого человека, одетого в поддевку и белый картуз с большим козырьком. Он опирался подбородком о трость, вдоль нее висели его длинные рыжие усы.

Девушка, сидевшая с ним рядом, была вся в белом. Соломенная шляпа ее лежала на коленях. Две русые косы обегали вокруг головы, солнце сквозь зонт заливало розовым светом ее овальное гордое и прелестное лицо с маленьким, детским ртом.

– Серьезный барин, – сказал Никита. – По старине живет, за землю держится, а дочку за князя норовит пропить, – и то сказать – Волков...

«Так вот она какая», – подумал Григорий Иванович и, застыдившись, отошел от перил, толкнулся по палубе, ушел на корму, за мешки с мукой, и ужасно покраснел, бормоча:

– Что за глупость, мальчишество... – и пальцем принялся ковырять дыру в мешке.

Был уже слышен плеск весел. Завозня подходила, несомая течением. Скоро с лодки крикнули «держи», матрос на конторке ответил «есть» и побежал за ударившей о крышу бечевой; лодка тяжело ткнулась, и спустя мгновение Григорий Иванович услышал голос, как музыку: «Папа, дайте руку», затем вскрик и всплеск воды.

Холод испуга проколол Григория Ивановича, он ухватился за мешок, потом кинулся к перилам...

Екатерина Александровна стояла внизу трапа, приподнимая с боков, намокшую юбку, и смеялась. Волков же говорил ей сердито:

– Ты не коза в самом деле... Нельзя же так прыгать...

И оба – отец и дочь – поднялись наверх, сошли не спеша на берег и сели в коляску, запряженную вороной тройкой.

Екатерина Александровна, обернув голову, взглянула на дом на той стороне, словно погладила его серыми своими, немного выпуклыми, как у отца, большими глазами. Волков сказал «трогай», лошади в наборной упряжи рванулись и унесли лакированную коляску за тальники:

А Григорий Иванович еще долго стоял, глядя вслед, потом вернулся на скамейку, увидел под своим сапогом на полу влажный след от женского башмака и осторожно отодвинул ногу.

Скоро пришел пароход. Григорий Иванович съездил вниз к Никитовой бабушке и домой вернулся поздно ночью, разбитый и неразговорчивый.

В избу он не пошел, а спать лег в сенцах на сундуке. Сон его одолел сейчас же, но ненадолго. От крика петуха он проснулся и глядел на четырехугольник раскрытой двери, через которую были видны звезды, потом лег на бок, повернулся ничком и, зажмурясь, принялся вздыхать и глотать слюни.

ЯДОВИТЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

1

Князь Алексей Петрович проснулся в глубоком кресле, перед туалетным столом, у высокого, с отдернутой шторой окна. Другие два окна спальни были занавешены, и на камине, в темноте, постукивал неспешно маятник.

За окном видны были вершины сада; далее – лиловая река, за ней конторка, тальниковые пусторосли, заливные луга с красноватыми озерами, – в овальном зеркале их отражался печальный с сизыми тучами закат; туда, через поля и холмы, бежала дорога, узкая, чуть видная.

От закатного, гаснущего света краснели края туч, а облака, что висели повыше, казались розовыми в небе цвета морской воды; – еще повыше теплилась звезда.

Алексей Петрович глядел на все это, касаясь холодными пальцами худой и бледной щеки.

Во впадине глаз у него лежала густая синева, по округлой скуле вились тонкие волосы каштановой бородки.

Только это – белая кисть руки, щека и выпуклый глаз – отражалось в зеркале туалета; Алексей Петрович, переводя иногда взор на себя в зеркало, не шевелился.

Он знал, что, если пошевелится, вся муть сегодняшней ночи ударит в голову, нарушив спокойное созерцание всех вещей, ясных, словно из хрусталя. Прозрачными и печальными были и мысли.

Так печалит закат над русскими реками. И еще грустнее было глядеть на убегающую на закат дорогу: Бог знает, откуда ведет она, Бог знает – куда, подходит к реке, словно чтобы напиться, и вновь убегает, а по ней едет... телега ли? – не разберешь, да не все ли равно.

В этой печали неба и земли отдыхал Алексей Петрович. Ему казалось, что все бывшее не коснулось его, а то, что будет, пройдет так же ненужно и призрачно, а он – после шумных попок с друзьями, после тревожных свиданий с Екатериной Александровной в саду по вечерам, когда хочется коснуться губами хоть платья и не смеешь, после трогательных ласк Саши, после радостей и раскаяния, после, наконец, острых до холода воспоминаний о Петербурге – снова, как усталый актер, сотрет румяна и будет всегда, всегда глядеть на этот закат, холодящий сердце, на дорогу.

Но едва только Алексей Петрович подумал об этом покое, противоречивые мысли, словно спорщики, принялись беспокоить исподтишка...

«А ведь ты, как покойник, холоден и одинок, – пришла и сказала одна мысль. – Ты только разрушал и себя и других, и до тебя, вот такого маленького в этом кресле, никому дела нет... А ты, быть может, из всех самый печальный и очень нуждаешься в ласке и участии...»

«Даром никто не дает ни ласк, ни участия», – ответила вторая мысль.

Третья сказала горько: «Все только брали от тебя, требовали и опустошали».

«Но ведь ты никого не любил, – опять сказала первая, – и теперь отвержен, и сердце уже высохло».

– Нет, я любил и могу, я хочу любить, – прошептал Алексей Петрович, повертываясь в кресле.

Спокойствие было нарушено. А за окном выцветал закат и тускнел, с боков заливаемый ночью.

– Боже мой, какая тоска, – сказал Алексей Петрович и крепко зажал глаза ладонью, до боли. Он знал, что теперь настал черед метаться по креслу, мучиться от стыда и думать о Петербурге...

Нельзя уйти от этих воспоминаний, они всегда настороже, и утолить их можно вином или разгулом.

2

Алексей Петрович служил в... гвардейском полку, зачислясь туда в год смерти матери и отца, восемь лет тому назад.

Небольшие деньги он старательно проживал, уверенный, что, когда разменена будет последняя сторублевка, кто-нибудь умрет из родственников или вообще что-нибудь случится.

Благодаря этой уверенности трудно было найти в Петербурге человека беззаботнее, чем князь Краснопольский. Он очень нравился женщинам. Связи его были всегда непродолжительные и легкие и не оставляли в нем следа, кроме разве милых или забавных воспоминаний.

Прошло шесть лет службы в полку. В шумной и угарной перспективе этих лет дни походили один на другой. И вот однажды Алексей Петрович оглянулся – и ему представилось, что он словно шел все это время по однообразному коридору и такой же серый, глухой коридор был впереди. Это новое ощущение жизни его удивило и огорчило.

В это как раз время в скучном и малознакомом доме, в гостиной княгини Мацкой, он встретил женщину, которая неожиданно, как гроза, разбудила его дремавшие страсти.

Алексей Петрович стоял подле истощенного молодого человека из дипломатического корпуса, слушая идиотские, давно всем известные экспромты и остроты, и уже собирался незаметно скрыться, когда лакей распахнул золоченую дверь. Шумя суконным платьем, вошла дама, очень высокая, в накинутом седом и буром мехе, и быстро села на диван.

Ее движения были стремительны и связаны платьем. Под шляпой от низкого лба поднимались волосы цвета меди. Лицо было матовое, с полузакрытыми прекрасными глазами и узким носом, – тревожное, невеселое.

– Кто она? – быстро спросил Алексей Петрович.

– Мордвинская, Анна Семеновна, о ней говорят, – ответил дипломат, проливая кофе из чашки на ковер.

Такова была первая встреча. Алексей Петрович помнил ее до мелочей.

Когда его представили, Анна Семеновна, прищурясь, мимолетом взглянула, словно примерила его.

Алексей Петрович, позванивая шпорой, придерживая шапку у бедра, старался найти слова, – всегда такие обычные и легкие, теперь они казались лишенными смысла.

Анна Семеновна слушала, вытянувшись, слегка приподняв розовое ухо. В черной ее юбке лежал белый платок, благоухая как-то особенно – по-женски, а быть может, от нее самой исходил этот запах. Потом она улыбнулась, словно окончила прием. Алексей Петрович не догадался сейчас же отойти, и она поднялась, шурша шелком и сильно выпрямив грудь, кивнула знакомым и прошла в другую гостиную, недоступная и необычайная.

После встречи Алексей Петрович несколько дней жил в чудесном мире запахов. Все, что не походило на аромат платочка, брошенного тогда в колени Анны Семеновны, – не существовало, и от слабого хотя бы намека на тот запах глаза Алексея Петровича темнели, сжималось сердце.

Сидя в трех комнатах холостой своей квартирки в первом этаже на Фонтанке, близ Летнего сада, Алексей Петрович рассеянно глядел на стены, простреленные кое-где во время

холостых пирушек, присаживался к столу, уставленному женскими фотографиями, лежал на кожаном диване, курил, насвистывал из Шопена – и повсюду видел бледный профиль с нежным ртом и глазами, будто подернутыми горячим теплом. Даже денщик, певший обычно на кухне бабым голосом солдатские песни, не раздражал более.

Когда повалил за окном крупный снег, Алексеи Петрович, прижав лоб к стеклу, долго глядел на зыбкое, опускающееся с неба покрывало и вдруг закричал денщику: «Скорее шинель и шапку!»

Таков снег, когда он застилает небо, и землю, и дома, когда женщины запахивают шубы, согревая плечами и грудью душистый мех, когда из выюги вылетит рысак с отнесенным по ветру хвостом и пропадает вновь так быстро, что едва заметишь, кто сидит в низких санках, – тогда нужно стать за углом и караулить: кто набежит, блеснув из-под капора темными глазами на раздумяном лице? Тогда нужно самому сесть на лихача и мчаться, пряча лицо в воротник, и думать: кого встретишь в этот вечер, с кем потеряешь сердце?

Алексей Петрович быстро шел по набережной, распахнув меховую шинель. Снег таял на его щеках, и ласковый звон шпор поддразнивал. На Эрмитажном мосту он остановился, сообразив, что идет к дому княгини Мацкой.

Он вздернул плечами, усмехнулся и поглядел вокруг.

Густой снег застилал свет фонарей, ложась на все карнизы и статуи, покрывал подушками темный гранит. Прохожих не было; окна дворца были темны; часовой у подъезда стоял недвижно, закутанный в тулуп, с прилипшим к боку ружьем.

Вдруг раздался вскрик, и, взлетев на Эрмитажный мостик, промчался вороной рысак, в пене и снегу, далеко выбрасывая ноги. В узких санках за широкой спиной кучера сидела, наклонясь вперед, Анна Семеновна в темных соболях...

Алексей Петрович, приложив руку к высокой бобровой шапке, так и остался стоять, глядя в пургу, где пропал рысак. Шинель сползла с его плеча, открыв золотые галуны, холод словно ожег до сердца...

Назавтра Алексей Петрович приехал к Мордвинским с визитом. Краснея и путаясь, он объяснял мужу, что имеет честь засвидетельствовать почтение Анне Семеновне, с которой встретился у княгини, и, объясняя, все ждал, не выйдет ли она из комнат. Мордвинский холодно слушал князя, приподняв брови, ни разу не вскинул глаз. Был он велик ростом, сутул и толст, и Алексей Петрович, глядя на землистое его лицо с хищным носом и усами вниз, представлял, как он будет морщиться после ухода гостя, зная, что необходимо отдать ненужный визит.

Но Мордвинский с обратным визитом не приехал, и Алексей Петрович, прождав ее неделю, решил при первой же встрече наговорить дерзостей и драться...

А спустя время в одной гостиной, уже уходя, встретился с Анной Семеновной в дверях. Она подняла синие глаза на князя и усмехнулась. Он остался стоять, словно скованный великой силой.

Полтора месяца он разыскивал Мордвинскую по салонам, балам, вечерам и вечерням в светских церквях. Он и не гадал никогда, что может так страдать. Он постоянно привык думать о ней, напряженно, как о болезни. Входя в гостиные, он всегда знал, еще не видя, там ли она. Однажды, когда она неожиданно подошла сзади, он задрожал и быстро обернулся, расширив глаза...

– Вы, кажется, боитесь меня? – спросила она. Это были первые ее несветские слова...

Анна Семеновна обращала на него, быть может, больше даже внимания, чем на других, но он считал себя ничтожным и недостойным. И не радовался более чувству: был не волен в нем, оно жгло и подтачивало. Недаром говорят в народе, что любовь – как змея...

Тогда неожиданно (как поступал он всегда) Алексей Петрович признался во всем мало-знакомому офицеру, принятому у Мордвинских... Офицер, покусывая усы, внимательно

выслушал (они сидели в кабаке, – над ухом, заглушая слова, выли румыны), а на следующий день все рассказал Мордвинской.

В этот памятный вечер они встретились на балу. Алексей Петрович, похудевший и серьезный, проходил в толпе мундиров, фраков и женских платьев, поглядывая исподлобья; звякал шпорами, кланялся, сейчас же отворачиваясь, и пристально искал ее, словно боялся не узнать или ошибиться.

Анна Семеновна стояла у колонны. На ней было платье из зеленого шелка, простое и открытое, на подоле брошена большая розовая роза.

– У меня с вами длинный разговор, – сказала Анна Семеновна князю, который, касаясь губами ее руки, не слышал больше ничего, не видел... Ему было тяжело до слез – страшно и радостно.

– Не гневайтесь на меня, – проговорил он тихо. Они прошли через зал в зимний сад.

Анна Семеновна села на диванчик у неровной, обложенной диким камнем стены... Камни и выступы оплетал плющ, сверху висели нити ползучих растений; с боков диванчика до стеклянного потолка стояли пальмы, и ровный свет, не бросая теней, был повсюду, освещая зелень, журчащий фонтан и всю тонкую, злую Анну Семеновну. Ударяя веером по ладони, она усмехнулась, потом сказала:

– Я слышала, вы отзывались непочтительно обо мне, правда это?

Алексей Петрович вздохнул и опустил голову, Анна Семеновна продолжала:

– Вы не отвечаете, значит это правда?..

Он раскрыл сухие губы и вымолвил невнятное...

– Что, что?! – воскликнула она и вдруг добавила неожиданно тихо: – Видите сами – я не слишком сержусь на вас.

В словах этих показалась ему и насмешка и участие совсем женское – ведь так легко исцелить печаль. У него смешались все мысли, он почувствовал, что сейчас забудется, – тогда погибло бы все.

Но в это время вошел Мордвинский; увидав князя, он сделал тошное лицо и сказал жене:

– Получена депеша, я уезжаю.

– Да, но я не читаю ваших депеш, – ответила Анна Семеновна. – Меня проводит князь.

Мордвинский, поклонившись, вышел. В коротком слове «князь» было обещание... Анна Семеновна взяла его под руку, и они пошли в зал, где были танцы. Там Алексей Петрович, словно внезапно опьянев, рассказывал, смеясь, о том, как проводил эти дни. Анна Семеновна чуть-чуть сдвигала брови, когда он слишком пристально взглядывал ей в глаза.

В три часа они ушли. Садясь в автомобиль, Анна Семеновна приподняла серую шубку, открыв до колена ногу в белом чулке, – сквозь него видна была кожа... Алексей Петрович закрыл глаза. Сидя рядом на мягко подпрыгивающем сиденье, он словно видел всю ее, от белых чулок до алмазной цепочки на шее, и молчал, откинувшись и чувствуя, как глаза ее, холодные и светлые от бегущего навстречу фонаря, следят за каждым его движением...

Наконец стало невыносимо молчать. Он засунул палец за воротник, потянул, и отскочили крючки и пуговицы на опушенном мехом мундире.

– Не нужно волноваться, – сказала Анна Семеновна; рукой в белой перчатке потерла запотевшее стекло и добавила тихо: – Вам я все позволю...

Была ли то прихоть Анны Семеновны, или зашла она слишком далеко в игре, но до пяти утра, сначала в автомобиле, потом у Алексея Петровича на дому, они ласкали друг друга, отрываясь только, чтобы перевести дух, Анна Семеновна, как только вошла в спальню, сказала удивленно: «Какая узенькая кровать», – и это были ее единственные слова.

В спальне, освещенной лампадкой перед золотым образом, на креслах и ковре разбросала она шубу, платье и надушенное белье. Алексей Петрович трогал разбросанные эти

вещи, качаясь, как пьяный, потом, торопясь, снова ложился на подушки, серьезно глядя на молодую женщину, еще более чудесную в сумраке, и, чтобы почувствовать, что она не снится ему, прикасался к ней губами и забывался в поцелуе, закрыв глаза.

Эта ночь преломила жизнь Алексея Петровича. Он познал страдание, несравненную радость и потерял волю. С каждым часом следующего дня он все нетерпеливее хотел повторить то, что было... И если бы это было нужно, сейчас бы согласился поступить к ней в кучера, в лакеи... Он бы трогал ее вещи, смотрел на нее, слушал, целовал сиденье кресла, где только что она сидела.

Но Алексей Петрович не был ни кучером, ни лакеем. Анна же Семеновна не назначила места новой встречи.

Прошли – день, бессонная ночь и новый день, полный тревоги... Вечером был в Дворянском собрании благотворительный базар. Алексей Петрович, едва вошел в огромный зал собрания, увидел ее за прилавком. Анна Семеновна продавала грубые кружева и крестьянские вышивки. Направо стоял муж, а налево, опираясь о прилавок, вертел моноклем истощенный молодой человек из дипломатического корпуса.

Словно солнце осветило все вокруг, когда Алексей Петрович, широко улыбаясь, подходил к прилавку... Анна Семеновна взглянула на подходящего, резко сдвинула брови, опустила глаза и отвернулась к истощенному молодому человеку. У Алексея Петровича схватило дыхание... Он поклонился. Она не протянула руки. Муж едва ответил на поклон.

Весь вечер Алексей Петрович ходил, толкаясь в толпе, покупал ненужные вещи, носил их, потом оставлял на подоконниках и каждый раз, описав круг, останавливался невдалеке от киоска с кружевами. Анну Семеновну загораживали офицеры, и слышно было, как она смеялась. За час до разъезда он сошел в раздевальню и разыскал шубу Мордвинской. Когда она показалась на лестнице под руку с мужем, Алексей Петрович подошел и, не глядя, чтобы уже не видеть ее холодных глаз, заговорил о продаже кружев... Она не ответила. Швейцар, бросив ее ботинки на пол, помогал надевать шубу. Алексей Петрович нагнулся к серым ботинкам и, слегка отодвинув полу ее шубки, стал обувать, зная, что делает ужасное. Голова его наклонялась все ниже к синему прозрачному чулку, он быстро коснулся ее ноги губами, поднялся весь красный и увидел Мордвинского, который, совсем одетый, глядел на ноги жены, криво и странно усмехаясь...

Это было началом той ужасной катастрофы, после которой Алексей Петрович оставил полк и бежал в имение Милое, полученное по наследству от бабушки Краснопольской, умершей этой весной где-то в Германии на водах.

Катастрофой кончилась молодость Алексея Петровича, и казалось ему теперь, что нет избавления от этой жизни – нудной и призрачной. Быть может, спасет иная любовь. Но он чувствовал, как сердце его истерзано и полуживое, а чтобы полюбить еще раз, надо родиться дважды.

3

Алексей Петрович, чтобы не оставаться с ядовитыми воспоминаниями с глазу на глаз, каждый вечер звал гостей, – одних и тех же. Гости приезжали в сумерки: братья Ртищевы на двухколесной таратайке, старый Образцов в плетеном тарантасе, и после всех, в кебе, – Цурюпа, купеческий сын, пообтертый по заграницам. Так было и сегодня.

В положенный час лакей поднялся вверх к Алексею Петровичу и, приотворив дверь спальни, увидел князя, лежащего головой на подоконнике.

Алексей Петрович не сразу расслышал, что зовут обедать и гости уже приехали. Сквозняк из отворенной двери поднял его волосы. Он оглянулся, болезненно щуя глаза на свет задуваемого канделябра в руке лакея, и сказал:

– Пусть гости садятся за стол.

Обедали обычно в большом зале. Вдоль четырех его стен и отступя от них, чтобы образовать проход, стояли два ряда круглых колонн; шесть окон за ними открывались в сад; на противоположной стене окна были фальшивые, со вставленными зеркалами; между колонн были поставлены диванчики без спинок...

Когда лакей доложил об обеде, с этих диванчиков поднялись, крикая и потирая руки, братья Ртищевы, Цурюпа и Образцов, сели за стол и раздвинули локтями на снежно-белой скатерти хрусталь и тарелки. Братья Ртищевы всегда садились рядом, – широкие спины их были обтянуты серыми поддевками с кавказскими пуговицами, у обоих были косматые усы, курносые, отменного здоровья лица и коровьи глаза. Братья стеснялись и ждали, когда Цурюпа, за хозяина развалившийся в конце стола, возьмет первый кусок. Лысый Образцов, сложив губы сладкой трубочкой, шарил по столу стариковскими глазами, мутными от подагры.

– Шампанское подашь вчерашней марки, – вытянув нижнюю губу, приказал Цурюпа... На нем был смокинг, а за жилет заложен красный, как для причастия, носовой платок.

– А вишневочку, душенька, ты забыл подать, я просил тебя сладенькую, – помнишь, вчера? – сказал Образцов.

– Слушаю-с, – хмуро ответил лакей. Кухонный мальчик внес в это время суп. Ртищевы, Иван и Семен, сказали, потолкавшись:

– Полезнее всего простая водка, от шампанского живот пучит... Передай, Семен, грибков да налей-ка...

Цурюпа ел мало и молчал, мигая веками без ресниц: он приберегал остроты к выходу князя.

Образцов с удовольствием, подвязавшись чистой салфеткой, хлебал суп, и мешочки под глазами у него вздрагивали. Он сказал, кивнув на братьев:

– Они имеют резон: у нас прокурор опасно заболел от шампанского – распучило донельзя. Но, разумеется, нельзя же все на водку напирать да на водку...

Цурюпа визгливо захохотал, катая хлебный шарик. Братья Ртищевы положили вилки, раскрыли рты и тоже засмеялись, точно из бочки.

– Вот мой брат был шутник действительно, – продолжал Образцов, – он, бывало, так скажет, что даже дамы уйдут...

Лакей и мальчик вносили блюда и вина. Над люстрой кружились бабочки, падая с обожженными крыльями на стол. Гости ели молча, иногда только Иван или Семен шумно вздыхали от неумеренности.

Наконец за стеной слышались знакомые припадающие шаги. Цурюпа поспешно вытерся салфеткой и, вынув из жилетки монокль, бросил его в плоскую впадину глаза. Вошел князь. Глаза его были красны, влажные волосы только что зачесаны наверх, а в сдержанных движениях и в покрое платья в сотый раз увидел Цурюпа необъяснимое изящество; стараясь его перенять, он покупал тройные зеркала, выписывал одежду и белье из Лондона, родных своих, захудалых купчишек, всех разогнал, чтобы не портили стиля.

– О, не вставайте, не вставайте, друзья мои, – сказал князь, здороваясь. – Надеюсь, повар исправил вчерашний грешок?

Ртищевы из благовоспитанности шаркнули под столом ногами. Образцов потянулся поцеловаться. Цурюпа же вскочил и не удержался – потрепал князя по плечу.

Алексей Петрович присел к углу стола, взял хлеб и ел. Ему налили вина, которое он жадно выпил. Облокотясь, коснулся пальцами щеки.

– Расскажите, что случилось нового. Да, пожалуйста, дайте мне еще вина.

– Всегда новое – это вы сами, – сказал Цурюпа. – А вот, кстати, я привез анекдот...

Он перегнулся к уху князя и, давясь от смеха, стал рассказывать. Князь усмехнулся, братья Ртищевы, посмеявшись, морщили лбы – старались придумать интересное, но в голову им лезли собаки, потрава на покосе, захромавший коренник – все, мало подходящее для такого высокого общества. Образцов же сказал:

– Если разговор пошел на девочек, то князюшке нашему и книги в руки... Он угостит.

– Да, да, непременно, – зашумели гости, – пусть князь достанет хороших девочек!

– Лучше махнем в Колывань, господа!

– На взъезжую! К Саше!

– Это не по-дружески – сам пользуется, а нам – шиш, – нет, в Колывань! В Колывань!

Князь нахмурился. Братья Ртищевы топали пудовыми сапогами и, вспотев, кричали: «В Колывань!.. В Колывань!..» Цурюпа лез к уху князя, шепча: «Нехорошо, князь, нехорошо». Образцов тер салфеткой лысину и высовывал кончик языка, совершенно раскисая при мысли о Колывани. Все были пьяны. Князь, облокотясь, опустил голову. Выпитое вино, да еще на вчерашнее похмелье, отуманило голову, как душное облако. «Сегодня нужно быть пьяным больше, чем когда-либо», – подумал он, поднялся и, подхваченный под локоть Цурюпой, усмехнулся:

– Идем в сад.

Лакей тотчас распахнул балконные двери, откуда влетела вечерняя прохлада, и гости по ступеням сошли в сырой сад.

Песчаная дорожка от балкона вела к оврагу, на краю его стояла полускрытая кустами шиповника балюстрада с одной уцелевшей каменной вазой.

На вазу эту, на несколько балясин меж листвы, на деревья, на дорожку падал свет из шести окон зала. Под обрывом на широкой, едва видимой реке горели красные и желтые сторожевые огни.

– Надо уговорить братьев побороться, – шепнул Цурюпа князю, который, прислонясь щекой к вазе, глядел на Волгу, думая: «Сегодня, непременно сегодня, неужели не хватит храбрости?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.